

## КОРОТКО О КНИГАХ



**СВОЙ ПОДВИГ СВЕРШИВ...** (А. Зорин. Глагол времен. Издания Г. Р. Державина и русские читатели; А. Немзер. «Сии чудесные виденья...»: Время и баллады В. А. Жуковского; Н. Зубков. Опыты на пути к славе. О единственном прижизненном издании К. Н. Батюшкова) М. «Книга». 1987. 384 стр.

Итак, цифра в очередной раз восторжествовала над смыслом: издательству «Книга», жестко ограниченному числом позиций в темплане, пришлось втиснуть под одну обложку три очень разные работы о трех не столь, но все-таки тоже разных поэтах. Так, А. Зорин мало и бегло говорит о поэзии Державина, но много и подробно — о том, как воспринимала ее русская общественная мысль на разных этапах своего становления. А. Немзер, напротив, погружен в текст и занят не столько социальной, сколько эстетической реакцией на провиденциально-ироничный мир баллад Жуковского. Н. Зубков увлечен более книговедческой предысторией создания батюшковских «Опытов в стихах и в прозе», а когда он заводит речь о социуме или поэтике — не случайно текст скучнеет.

Книжки разнятся и по стилистике: эпически неспешна, даже вальяжна манера Зорина, нервно-энергичен и резко выразителен темп повествования Немзера, вяловато-строг слог Зубкова. У них даже недостатки глубоко индивидуальны — кроме одного недочета, так сказать, совместного производства. Очень уж смешно читать приложенный к книге перечень дат, где смешаны воедино события жизни, творчества и издательской судьбы книг и Державина, и Жуковского, и Батюшкова. Такое вавилонское столпотворение призвано, по всей видимости, продемонстрировать формальную цельность издания. Но будем говорить правду: три книжки сцеплены лишь потому, что их авторы имеют несчастье быть молодыми литературоведами (а за чей еще счет экономить место в темплане?!).

Но нет худа без добра. Вынужденное соседство выявило черту сходства, отнесенную несовпадением интересов, манер и уровней дарования. Судя по сборнику «Свой подвиг свершив...», в науку, прорывая множество заслонов, входит наконец-то новая сильная генерация филологов, ставящих эстетику факта выше красивых философических и эссеистически-эмоциональных рассуждений. Вывернув наизнанку формулу М. М. Бахтина, можно сказать, что критерий глубины здесь — точность.

Только не нужно думать, будто перед нами просто «фактографы» и «классификаторы»; нет, опора на архивно-журнально-газетные данные здесь лишь средство построения ясного образа духовной жизни времен минувших, времен, а не нашего о них представления. Так, читая работу Зорина, мы попадаем в атмосферу журнальных споров 40-х годов XIX века и постигаем ценностные ориентации их участников; обращаясь к исследованию Немзера, видим, как баллада катализировала «литературный быт», внедрялась в него и оказывалась косвенной причиной появления творческих содружеств, поэтических братств... Картина, возникшая из воздуха, — это мираж; картина, созданная на пересечении фактов, — это реальность.

Случайно ли, что самые интересные и живые страницы в работе Н. Зубкова отданы сюжету абсолютно «неаппетитному» — подготовке состава батюшковского сборника? Что А. Немзер не ленится еще раз перепроверить данные о полемике вокруг баллад Жуковского и Катенина (полемика, уже набившей оскомину специалистам) и приходит к неожиданно свежим выводам? Что А. Зорин большую часть своей книжки отводит рассказу — проникновенному, почти художественному — о нравственном подвиге «служителя факта», выдающегося отечественного текстолога Я. К. Грота, кропотливо готовившего державинское собрание сочинений именно в те долгие годы, когда общественное равнодушие к ним достигло апогея?

Увидеть в сухом академизме стоическую непреклонность — для этого нужно трезвомыслие архаиста и смелость новатора.

Понятия из терминологического арсенала Ю. Н. Тынянова приходят на память, конечно же, не случайно. «Архивные юноши» обрели свой путь, самоопределились как поколение (не по возрасту — по духу; иначе тридцатилетние авторы сборника и близкие им В. Мидьчина, А. Песков, В. Гудкова, О. Проскурин, С. Зенкин не «рифмовались» бы с сорокалетними Р. Тименчиком и А. Осповатом) в результате болезненной реакции на заболтанного колекем из их старших товарищей Бахтина.

Бахтин, положим, ни в чем не виноват, да и не убудет великого русского мыслителя, а вот отношения со многими из «старших товарищей» вряд ли у нового поколения сложатся хорошие. Скорее уже через головы «отцов» они обратятся к опыту «дедов», заново переосмыслят наследие формалистов, включают в свой духовный арсенал работы тех, кто сохранил верность теории «литературного факта» в 70-е годы XX ве-

ка, когда так заманчиво было создавать литературоведческие мифы — без имен, без дат, без названий, без цитат; с пиететом произнесут фамилии М. О. Чудаковой, М. А. Гаспарова, Ю. В. Манна, Вяч. Вс. Иванова, Ю. М. Лотмана... Следствием, как можно предвидеть, станет возвращение филологической науки в ее собственные границы.

Но, впрочем, незачем гадать о будущем, когда мы имеем дело с настоящим. Нравится это кому-то или не нравится, но очередная генерация стучится в двери, и их нужно открывать.

А. Александров.



**В. НЕПОМНЯЩИЙ. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. Изд. 2-е, дополненное. М. «Советский писатель». 1987. 448 стр.**

Сказать о работе В. Непомнящего, что она посвящена Пушкину, его «духовной биографии», недостаточно. Здесь уместнее старое выражение: автор посвящен и посвящает в то, что значит в заглавии его книги. Пушкинское присутствует в ней не как предмет, а как стихия.

Эту книгу можно читать и как первое введение в Пушкина и как раздумье о полутора веках пушкинистики. Выверенным итогом сегодняшнего знания звучат, например, формулы Непомнящего об историческом месте Пушкина на водоразделе русской культуры: он не умещается в послепетровскую эпоху, его деятельность «заживляла трещину» между петербургской и старомосковской Россией, «восстанавливала национальную целостность»; а с другой стороны, «у Пушкина есть стихотворения лермонтовские и некрасовские, есть гоголевские сюжеты и тютчевская космичность, есть чеховская деталь, прутковский юмор и блоковские строки... он как бы является ее (последующей русской литературы. — В. Б.) зеркалом — зеркалом, обращенным в будущее».

В книге Непомнящего движение разнообразно, вещи открываются под разным углом. Народная тропа к Пушкину и его «Пророк» как поэтическое откровение; детская простота и прозрачная высь его слова, которое «не сверкает, не гремит, а почти безмолвствует»; стояние поэта в истине между жестокой властью и непониманием своих же единомышленников; его супружество как поступок традиционной нравственности, род аскезы (Вл. Соловьев); звонкая вселенная пушкинских сказок; не отделенная личность, а историческое тяготение народа к Истине как действующее начало «Бориса Годунова»; срединная эпоха собирания и создания поэтом самого себя — «Евгений Онегин»; пушкинский дар, выходящий далеко за пределы литературы, — это все еще только внешняя нить повествования.

Характер итога-введения делает книгу обещанием новых путей, и автор протрясает их, ставя вопрос о пушкинском мире в том особенном смысле этого слова, о котором мы сейчас скажем. Через Пушкина, сквозь блеск его слова и вместе с

Пушкиным он пытается взглянуть в то самое, на что смотрел поэт, «держат в поле зрения» пространства, где обрывается слово. В самом деле, страшно выговорить, но, без раздумий поставив под удар продолжение — заведомо блестящее — своей литературной работы, Пушкин оставил нам завещанием не литературу или, вернее, литературу тоже («душа в заветной лире...»), но лишь как указание на другое. «...Он умолк и — как делал он это в своих стихах и прозе — заставил говорить молчание».

Конечно, читатель вправе с опаской отнестись к готовности исследователя говорить о том, чего поэт не сказал. Пушкин как никто другой запрещает отрываться от конкретности. Перед Пушкиным глупо, стыдно теоретизировать. Но одностороннее следование за фактом завело пушкинистику в другую крайность. Обнаружение документов, выявление и сопоставление обстоятельств — это все-таки лишь находки. Открытием в науке о литературе следовало бы называть то, что служит открытию поэтического мира.

Мысль автора в том, что пушкинский мир не принадлежит «эстетической сфере» и не витает где-то отдельно от «реального» мира, он — один из истинных обликов единственного настоящего мира среди многих поддельных. Пушкин — и здесь Непомнящий, как нам кажется, возвращает поэта в верную историческую перспективу — размежевывается с «философией потребления мира человеком», «узурпации вселенной». Пушкинский мир — пространство света, правды, строя, вне которого нет места для надежного человеческого обитания. Этот мир неприступен, как сам свет; им нельзя овладеть и распорядиться, он сам захватывает нас, и он заранее уже распорядился нами, впусив нас в себя или не впусив.

На просторе этого мира поэт встречается с народом раньше, чем успевают заметить охотники за народной и национальной тематикой. Как народ, поэт чуток к свободному звучанию слова в момент, когда оно, срываясь с уст, полно неожиданностей, само говорит и укладывается в окончательном значении не по воле индивида, а по другой, широкой воле бытийной правды.

Заметим, этому наблюдению о вольности поэтического слова (оно «пространство между небом и землей») противоречит желание автора искать в пушкинских текстах чуть ли не нравственные предписания. Конечно, ничто не мешает прочесть пушкинский роман в стихах как «систему ценностей» и выявить в нем «иерархию нравственных истин». Однако поиски вшифроанной в поэзию морали неизбежно разбиваются о хлесткое — наотмашь — замечание Пушкина к словам П. А. Вяземского о том, что Вольтер не был ни гонителем добродетели, ни льстецом порока: «Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона». И тот же жест: «Подите прочь — какое дело поэту мирному (!) до вас».

Тем не менее за настойчивыми напоминаниями В. Непомнящего о нравственности